

Карсон МАККАЛЛЕРС

Р А С С К А З Ы

перевод с англ. Я.З., Д.В. и С.О.

Карсон МАККАЛЛЕРС (1917-1967) –
американская писательница.

КАК Я НАЧИНАЛА ПИСАТЬ

В нашем старом доме в Джорджии были две поделенные раздвижной дверью гостиные – задняя и передняя. В них размещался мой театр. Передняя комната была зрительным залом, задняя – сценой. Дверь – занавесом. В зимнем полумраке в камине мерцает огонь, бросая блики на ореховую дверь, а перед самым началом спектакля вдруг замечаешь перестук часов на камине, высоких старых часов, по стеклянному фасаду которых плывут лебеди. Летом в комнатах царил духота, а стук часов заглушался свистом дворовой ребятни и отдаленными всплесками радиоприемников. Зимой на стеклах распускались ледяные цветы (зимы в Джорджии очень холодные), а в гулких комнатах металась сквозняки. Летом ветерок колыхал занавески, пахло разгоряченными цветами, а ближе к сумеркам – запотевшими стеклами. Зимой после спектаклей мы пили какао, летом – апельсиновый сок или лимонад. Только лишь кексы круглый год были одни и те же. Их делала Люсиль, тогдашняя наша кухарка – никогда в жизни я больше не видела таких вкусных кексов. Думаю, что секрет их заключался в том, что они никогда не получались. Тесто не поднималось, и кексы оставались сырыми, плоскими, полными изъяма. Их очарование было всецело случайным.

Старший ребенок в семье, я была сторожем и распорядителем кексов и устройтелем наших постановок. Репертуар был довольно электичным: тут были и сюжеты давних фильмов, был Шекспир, были пьесы, которые я выдумывала сама и записывала в пятицентовую тетрадку. Состав труппы никогда не менялся – младший брат, сестренка и я. Это и было самым серьезным препятствием. Сестренка – тогда десятилетний карапуз – была совершенно невыносима в сценах смерти, обмороков и подобных вещей. Когда ей приходилось, умирая, падать, она благоразумно осматривалась по сторонам и очень осторожно опускалась на софу или в кресло. (Помнится, одна такая смерть лишила любимое мамино кресло двух ножек).

Как постановщик спектаклей я могла мириться с их ^{из}рук вон плохой игрой, но одну вещь я просто не выносила. Порой, проведя полдня за репетициями, актеры неожиданно охладевали к замыслу и убегали играть во двор. "Я весь день бьюсь над

спектаклем, а вы удираете, — орала я, потеряв всякое терпение. — Вы просто несмышленные дети! Дети! Всех бы вас перестреляла!" Но, совершенно меня не слушая, они исчезали.

Наш импровизированный реквизит сдерживался только требованиями мамы. Под запретом был верхний ящик комода, где хранилось белье — так что в пьесе, где действовали сиделки, монахини и призраки, мы вынуждены были довольствоваться потрепанными полотенцами, скатертями и простынями.

Спектакли закончились, когда я открыла для себя Юджина О'Нила. Это случилось летом — я нашла в библиотеке его книгу, а его портрет поставила на камин в задней гостиной. К осени я закончила пьесу о мести и кровосмешении — занавес поднимался на кладбище и, после серии различных трагедий, опускался на катафалке. В списке действующих лиц были: слепой, несколько идиотов и столетняя нищая старуха. В условиях гостиной поставить пьесу было невозможно. Так что для терпеливых родителей и гостившей тети были устроены "чтения", как я это назвала.

Следующим, если не ошибаюсь, был Ницше и пьеса под названием "Огонь жизни". В пьесе были два персонажа — Иисус Христос и Фридрих Ницше, и, чем я особенно гордилась, она была написана рифмованными стихами. Эту пьесу я тоже читала вслух, а затем пришли со двора дети, и мы расселись возле камина в задней гостиной, пили какао и ели чудесные кексы с изюмом. "Иисус? — переспросила моя тетя, когда ей сообщили. — Что ж, религия как-никак милая тема".

Когда наступила зима, стало казаться, что наш дом, да и весь город жмут и стесняют мое отроческое сердце. Я жаждала путешествий. Особенно хотелось в Нью-Йорк. Блики на ореховых дверях и скучный стук старых часов с лебедями удручали меня. Я мечтала о далеких городах с небоскребами — и Нью-Йорк стал удачной декорацией моего первого романа, который я сочинила в пятнадцать лет. В книге были странные детали: контролер подземки, например — но это уже было неважно, потому что я сразу же отправилась в другое путешествие. То был год Достоевского, Чехова и Толстого — путь в неведомую страну, столь же далекую, как и Нью-Йорк. Старая Россия и наш дом в Джорджии — чудесный сплав немудреных историй и тайных переживаний...

СИРОТСТВО

Как сироты стали ассоциироваться для меня с кошмарной бутылкой? Ответ на этот вопрос следует искать в зыбкой логике детства, ибо к началу этой истории мне было не больше семи лет. Приют — обиталище всех сирот нашего городка — тоже повиновен в этом. Это было большое серо-зеленое здание с остроконечной крышей, окруженное вылизанным двориком, абсолютно голым, если не считать двух магнолий. Дворик был огражден стальной решеткой, так что, если остановишься поглазеть на улице, сирот можно было изредка увидеть. Задний двор Приюта, напротив, долгое время был для меня загадкой, высокий дощатый забор полностью скрывал происходящее, но, проходя мимо, можно было услышать голоса невидимых его обитателей и звук, похожий на клацанье металла. Эта секретность и загадочные голоса сильно меня пугали. Я часто проходила мимо Приюта, когда мы с бабушкой возвращались из центра города домой, и сейчас мне почему-то кажется, что всякий раз это было в зимних сумерках. Звуки, доносившиеся из-за забора в тусклом свете, казалось, таили угрозу, а остальные ворота отдавались в прикоснувшемся к ним пальце резким холодом. Уныние безжизненного двора и даже тусклые отблески желтого света в маленьких окошках напоминали мне, что там сидят существа, обладающие чудовищной тайной — тайной, которая открылась к тому времени и мне.

Просветила меня Хэтти, девочка лет девяти-десяти. Фамилии ее уже не помню, но некоторые ее слова незабвенны. Например, она сообщила мне, что Джордж Вашингтон был ее дядей. В другой раз она объяснила мне, почему есть цветные. Если девочка, — сказала Хэтти, — поцелует мальчика, то она станет цветной, а когда она выйдет замуж, ее дети тоже будут цветными. Только братья исключались из этого правила. Хэтти была маленькой для своего возраста. У нее был обломанный передний зуб, а сальные светлые волосы были скреплены сзади дешевой заколкой. Мне запрещали с ней играть — должно быть потому, что бабушка и родители ощущали в наших с ней отношениях нездоровый элемент — если это так, то они были полностью правы. Однажды я поцеловала Тита, своего двоюродного брата и лучшего друга, и с той поры день за днем медленно превраща-

лась в ностритянку. Это было летом, так что я постепенно темнела. Может быть, мне казалось, что Хэтти, уже обнаружившая это ужасное превращение, обладает какой-то силой, способной его остановить. В двойном рабстве вины и ужаса, я всюду устремлялась за ней, а она выпрашивала у меня мелочь.

Воспоминания детства – это пространства мрака, окружающие пятна света. Воспоминания детства – как горящие свечи в ночи, выхватывают из темноты лишь немного. Я не помню, где жила Хэтти, но коридор и комнату вспоминаю с невероятной отчетливостью. Не знаю, как я там оказалась, но, как бы то ни было, я очутилась там с Хэтти и моим кузенком Титом. Был поздний вечер, стемнело. Хэтти была в индейском костюме, на голове – связка ярко-красных перьев. Она спросила нас, знаем ли мы, откуда берутся дети. Индейские перья на ее голове, трудно сказать, почему, произвели на меня устрашающее впечатление.

– Они вырастают внутри женщины, – сказал Тит.

– Если вы поклянетесь, что ни одна душа не узнает, я вам кое-что покажу.

Нам пришлось поклясться, хотя я помню свой тягостный ужас перед дальнейшими открытиями. Хэтти забралась на стул и достала что-то с полки. Это была бутылка, в которой плавало нечто странно-красное.

– Знаете, что это такое? – спросила она.

Содержимое бутылки не вызвало у меня никаких ассоциаций. «Что же это?» – спросил Тит.

Хэтти сделала паузу, и ее лицо под перьями приобрело выражение гордого знания. После нескольких беспокойных минут она изрекла:

– Это мертвый заспиртованный ребенок.

В комнате воцарилась тишина. Мы с Титом обменялись исполненными ужаса взглядами. Я была не в силах снова посмотреть на бутылку, но Тит так перепугался, что не мог оторвать от нее глаз.

– Чей? – произнес он наконец слабым голосом.

– Видишь маленькую головку, а вот рот и маленькие красные ножки снизу. Мой брат принес его, когда учился в аптеке.

Тит осторожно потрогал склянку пальцем и тут же спрятал

руки за спину. И снова спросил, на этот раз шепотом.

— Чей? Чей ребенок?

— Это сирота, — сказала Хэтти.

Я помню легкий шепчущий звук наших шагов, когда мы на цыпочках вышли из комнаты, помню, что в коридоре было темно, а в конце его висела занавеска. Это, спасибо Всевышнему, последнее мое воспоминание об этой Хэтти. Но видение заспиртованного сироты часто посещало меня; однажды мне приснилось, что Он вылез из бутылки и гоняется за мной по Приюту, в котором я почему-то заперта. Вправду ли я думала, что в этом мрачном доме с остроконечной крышей стоят полки с рядами жутких бутылок? И да, и нет. Ребенку доступны два рода реальности: во-первых, общепринятый мир замечательного детского словаря, и, во-вторых, непризнанный, скрытый, полный загадок. Как бы то ни было, я крепче прижималась к бабушке, когда мы, пересекая город, оказывались у Приюта. В ту пору я еще не была знакома ни с одним его обитателем, потому что все они ходили в школу на Третьей улице.

Через несколько лет два происшествия заставили меня войти с Приютом в более тесный контакт. К тому времени я уже смотрела на себя как на вполне взрослого человека и тысячу раз проходила мимо этого места — на своих двоих, на коньках или на велосипеде. Ужас сменился неким очарованием. Всякий раз, проходя мимо, я жадно разглядывала Приют и порой видела, как с праздничной медлительностью сироты шествуют в Воскресную школу или в церковь — организованные в колонны с двумя большими сиротами впереди и двумя меньшими замыкающими. Мне было одиннадцать лет, когда случай приоткрыл для меня запретную дверь и позволил погрузиться в неизведанную романтическую область. Началось с того, что мою бабушку выбрали в совет попечителей Приюта. Это произошло осенью. Весной же сироты были переведены в школу на Семнадцатой улице, куда ходила и я, так что в моем классе оказались три сироты. Перевод произошёл, потому что изменилась прикрепленность школ к районам, а бабушку избрали в совет попечителей из-за того, что она обожала советы, комитеты, собрания и встречи, а ее предшественник в совете только что умер.

Примерно раз в месяц бабушка посещала Приют, и во второй раз я отправилась с ней. Было лучшее время недели — пятница,

просторная от сознания приближающихся выходных. День был прохладный, и нежаркие лучи солнца блистали на стеклах. Изнутри Приют оказался совсем не таким, как я его представляла. Широкий вестибюль был гол, в убого обставленных комнатах не было ни занавесок, ни ковров. Здание обогревалось двумя каминами — в столовой и главной комнате рядом с приемной. Миссис Уэсли, директриса, полная, тугая на ухо женщина, слушала собеседника с открытым ртом. Казалось, она постоянно задыхается; говорила она в нос, безмятежным голосом. Моя бабушка принесла кое-какие вещи (миссис Уэсли назвала их одеяниями), предоставленные различными церковными общинами, и они заперлись поговорить в холодной гостиной. Я была вверена своей ровеснице по имени Сьюзи, и мы немедленно отправились на огороженный забором задний двор.

Этот первый визит был обескураживающим. Девочки всех возрастов играли во дворе. Там были качели, брусья, на земле расчерчены классики. Всюду царил беспорядок. Маленькая девочка подошла ко мне и спросила, кем был мой отец. Поскольку я помедлила с ответом, она сказала: "Мой отец был обходчиком путей на железной дороге". Затем она села на качели и стала раскачиваться, не отрывая ног. Волосы свешивались на ее красное лицо. На ней был коричневый хлопковый спортивный костюм.

перевод Д.В.

ИСКУССТВО И МИСТЕР МАХОНИ

Подрядчик — весьма представительный мужчина — был мужем хрупкой, но энергичной миссис Махони, клубной активистки. Предприимчивый делец (это ему принадлежали кирпичный завод и лесопилка), мистер Махони с благодушной покорностью едва поспевал за водительством артистичной миссис Махони. Мистер Махони был хорошо натаскан: он привык говорить о "репертуаре", слушать лекции и концерты с выражением кроткого сожаления. Он мог поговорить об абстрактном искусстве и даже дважды принимал участие в постановках Малого Театра: однажды играл дворецкого, другой раз — римского легионера. Как же мог мистер Махони, человек столь тщательно воспитываемый, навлечь на них такой позор?

В тот вечер выступал пианист Хосе Итурби; это был первый концерт сезона, настоящий праздник. Чета Махони усердно поработала во время кампании Лиги Трех Искусств. Сам мистер Махони продал больше тридцати абонементов. Своим знакомым, людям из деловых кругов, он говорил о предстоящем концерте как о "гордости нашего общества" и "культурной необходимости". Махони пожертвовали своим автомобилем и развлекали обладателей абонементов приемом в саду — трое цветных слуг в белом подавали прохладительные напитки, а их новый тюдоровский дом был во этому случаю надраен до блеска и украшен цветами. Репутация Махони как людей ответственных за искусство и культуру была заслужена ими по праву.

Начало рокового вечера даже и не намекало на то, что должно было случиться. Принимая душ, мистер Махони пел, а затем оделся с особой тщательностью. В цветочном магазине Даффа он купил орхидею. Когда Элли вошла в его комнату — в новом доме у них были смежные спальни — он уже привел себя в порядок и прям-таки сверкал в смокинге; на плечо своего голубого крепового пляться Элли приколола орхидею. Жена осталась довольной его видом и, погладив его по руке, сказала: "Ты сегодня замечательно выглядишь, Теренс. Такой солидный."

От счастья дородное тело мистера Махони подтянулось, его румяное лицо с развилками вен на висках вспыхнуло. "А ты,

Элли, всегда прекрасна. Всегда так прекрасна. Иногда я не понимаю, почему ты вышла за...»

Она остановила его поцелуем.

После концерта Харлоу устраивали прием, и, разумеется, Махони были приглашены. Миссис Харлоу кто-то назвал "козой на пастбищах изящных искусств". О, как Элли презирала подобные простонародные шутки! У порога мистер Махони галантно накинул на плечи жены шаль.

Самое забавное заключилось в том, что вплоть до момента своего бесчестья мистер Махони наслаждался концертом более, чем каким-либо слышанным прежде. Не было этого скучного Баха с его выкрутасами. Музыка была похожа на марш и, ощущая свою с ней близость, мистер Махони легонько притоптывал в такт. Сидя таким образом, он время от времени бросал взгляд на Элли. Ее лицо носило отпечаток безутешной скорби, который она неизменно напускала, слушая классику. В перерывах она прикладывала ко лбу руки, словно такая эмоциональная нагрузка была слишком велика для нее. Мистер Махони с удовольствием хлопал своими розовыми пухлыми ладошками, обрадованный возможностью двигаться и проявлять чувства.

В антракте, пробравшись гуськом по проходу, Махони порознь вышли в вестибюль. Мистер Махони обнаружил, что его преследует старая миссис Уокер.

— Я предвкушаю Шопена, — сказала она. — Я всегда любила минорную музыку, а вы?

— Мне кажется, вы наслаждаетесь своим страданием, — ответил мистер Махони.

Миссис Уокер, учительница английского языка, тут же изрекла:

— Это меланхолия кельтской души моей матери. Вы ведь знаете, она родом из Ирландии.

Чувствуя, что он сказал что-то не то, мистер Махони поспешил исправиться:

— Что вы, мне очень нравится минорная музыка.

Тим Майберри взял мистера Махони под руку и по-свойски сказал ему:

— И барабанит же парень по этим чертовым клавишам!

— У него блистательная техника, — сдержанно возразил мистер Махони.

— Это затянется еще на час, — пожаловался Тим Мэйберри. — Вот бы улизнуть отсюда.

Мистер Махони благоразумно удалился.

Мистер Махони любил атмосферу спектаклей Малого Театра и концертов: драпировки, корсажи, черные смокинги. Гордость и удовольствие согревали его, когда он, приветствуя дам, беседуя с почтенной значительностью в движениях, уверенно прохаживался по вестибюлям школьного концертного зала.

Несчастье произошло как раз во время первого номера после антракта. Звучала длинная шопеновская соната: громоподобная первая часть — торжественный похоронный марш с небольшой вальсовой вставкой в середине — он сопровождал искусным притоптыванием ногой; траурный марш завершился оглушительным аккордом. Пианист поднял руки и даже слегка отклонился на табурете назад.

Мистер Махони хлопнул в ладоши. Он был настолько уверен, что это конец, что от души сделал с полдюжины хлопков, прежде чем, к своему ужасу, понял, что аплодирует в одиночестве. Хосе Итурби тут же вновь с дьявольской энергией бросился на клавиши.

Мистер Махони сидел, отупев от горя. Последующие мгновения были самыми страшными в его жизни. Красные вены на висках набухли и потемнели. Он зажал коленями свои согрешившие руки.

Если бы только Элли дала какой-нибудь тайный успокаивающий знак. Но когда он осмелился взглянуть на нее, он увидел, что ее лицо застыло, а взгляд с отчаянным напряжением устремлен на сцену. После нескольких бесконечных минут унижения мистер Махони робко потянулся рукой к затянутому в креп бедру Элли. Миссис Махони отодвинулась от него и скрестила ноги.

Чуть ли не целый час мистер Махони должен был терпеть публичный позор. Раз он перехватил взгляд Тима Мэйберри, и несвойственная ему злоба сверкнула в его нежном сердце. Тим не знал шопеновской сонаты, но все же сидел чинно и незаметно. Миссис Махони отказывалась ответить на полный душевной муки взгляд мужа.

На прием им пришлось поехать. Он понимал, что это единственно разумное решение. Ехали они молча, но когда он припарковал автомобиль перед домом, миссис Махони сказала: "Я думала, любой, у кого есть хоть капля ума, достаточно хорошо понимает, что не надо хлопать, пока не захлопают все."

Это был печальный для него прием. Гости собрались вокруг Хосе Итурби (все, кроме самого Итурби, знали, кто захлопал; он же был любезен с мистером Махони, как и с другими). Мистер Махони приютился в углу за большим концертным роялем ипил виски. Старая Миссис Уокер вместе с хозяйкой дома суетились вокруг мистера Итурби. Элли разглядывала корешки книг в шкафу. Одну она достала и даже почитала немного, стоя спиной к гостям.

Мистер Махони одиноко стоял в углу, поглощая виски. Наконец, к нему подошел тот же Тим Мэйберри. "Мне кажется, после всех абонементов, которые вы продали, вы имеете полное право на дополнительный хлопок". И он слегка подмигнул мистеру Махони в знак дружеского расположения, которое тот почти охотно принял.

перевод Я.З.

ГОСПОЖА ЗЕЛЕНСКАЯ И КОРОЛЬ ФИНЛЯНДИИ

Госпожа Зеленская появилась на музыкальном факультете Райдер-колледжа благодаря усилиям его декана, мистера Брука. По общему мнению, колледжу крупно повезло: госпожа Зеленская имела отличную репутацию композитора и педагога. Мистер Брук сам подыскал ей жилье — маленький домик с садом недалеко от колледжа и по соседству с собственным домом.

До приезда госпожи Зеленской в Вестбридж никто не был с ней лично знаком. Иногда мистер Брук встречал ее фотографии в музыкальных журналах, а как-то написал ей о своих сомнениях в подлинности одной из рукописей Букстехуде. Кроме того, когда обсуждался вопрос о переезде госпожи Зеленской, они обменялись несколькими деловыми письмами и телеграммами. У нее был прямой четкий почерк, и единственная странность писем состояла в том, что в них упоминались порой совершенно неизвестные мистеру Бруку люди и вещи — то "рыжая кошка из Лиссабона", то некий "бедный Генрих". Мистер Брук объяснял эти несуразыцы суматохой, связанной с отъездом госпожи Зеленской и ее семьи из Европы.

Мистер Брук был человеком весьма покладистым: годы жизни, отданные моцартовским менуэтам и разбору малых септим приучили его к профессиональному терпению. Жил он одиноко и ужасно не любил университетские сплетни и заседания. Несколько лет назад, когда преподаватели музыкального факультета договорились вместе провести лето в Зальцбурге, мистер Брук в последний момент отказался от поездки и уехал один в Перу. У него были свои маленькие причуды, но к странностям других он относился снисходительно, а порой даже с интересом. Часто, наблюдая какое-нибудь необычное или нелепое положение, он чувствовал, как внутри него начиналось легкое щекотание, и тогда его короткое вытянутое лицо застывало, а в серых глазах вспыхивал яркий огонек.

За неделю до начала осеннего семестра мистер Брук встретил госпожу Зеленскую на вокзале. Он тотчас узнал ее. Это была высокая худошавая женщина с бледным измученным лицом.

Под ее глазами лежали тени, темные опутанные волосы были отброшены назад, а большие тонкие руки казались довольно грязными. Нечто величественное и неземное в ее внешности заставило мистера Брука остановиться и приняться нервно поправлять запонки. Несмотря на свою простую одежду — длинную черную юбку и потертую кожаную куртку — она выглядела весьма элегантно. С ней приехали трое детей — мальчики в возрасте от шести до десяти лет, белобрысые, смущенные, симпатичные, и какая-то старуха, как позже выяснилось, ее служанка-финка.

Такую вот живописную группу встретил мистер Брук на вокзале. Весь багаж состоял из двух огромных сундуков, набитых рукописями и нотами; остальные вещи были потеряны при пересадке в Спрингфилде. Но это может случиться с каждым. Усадив всех в такси, мистер Брук облегченно вздохнул, решив, что главные трудности позади, но в эту минуту госпожа Зеленская начала протискиваться через его колени к выходу.

— Боже! — воскликнула она. — Я забыла... как это называется... тик-так...

— Часы? — спросил мистер Брук.

— Нет! — нетерпеливо ответила она. — Ну, этот самый, тик-так... — и она, словно маятником, покачала пальцем из стороны в сторону.

— Тик-так... — повторил мистер Брук, приложив ладонь ко лбу и закрыв глаза. — А, метроном!

— Да, да! Кажется, я оставила его на той станции, где у нас была пересадка.

Мистеру Бруку удалось ее успокоить. Сам удивляясь своей любезности, он даже пообещал, что завтра достанет ей другой метроном. И в то же время невольно подумал, что паника из-за метронома выглядит довольно странной, если учесть, что потерял почти весь багаж.

Семья Зеленских поселилась в соседнем доме, и, судя со стороны, все у них было в порядке. Мальчики, которых звали Зигмунд, Борис и Сэмми, оказались очень спокойными детьми. Они всегда держались вместе и обычно ходили гуськом, вслед за Зигмундом. Между собой они говорили на невообрази-

мой мешанине из русских, французских, финских, немецких и английских слов, а если рядом оказывались чужие — застенчиво молчали. Из всего, что делалось и говорилось в семье Зеленских, мистера Брука ничто особенно не беспокоило, за исключением кое-каких мелочей. Например, когда дети госпожи Зеленской бывали у кого-нибудь в гостях, что-то его смутно тревожило. Наконец, он понял, что именно. Никто из мальчиков не наступал на ковер, они обходили его гуськом по голому полу, а если ковер занимал всю комнату, дети останавливались в дверях и внутрь не входили. И еще одно. Недели шли за неделями, а госпожа Зеленская, казалось, не собирается ни приводить дом в порядок, ни обставлять его — ничего, кроме стола и кроватей, в нем не было. Входная дверь днем и ночью оставалась открытой, и вскоре квартира приобрела унылый и подозрительный вид, словно место, где уже много лет никто не живет.

У колледжа к госпоже Зеленской претензий не было. Она преподавала с небывалым рвением и буквально выходила из себя, если какая-нибудь Мери Оуэнс или Бернадина Смит недостаточно чисто исполняла этюды Скарлатти. Она поставила в классе четыре рояля и усаживала за них играть фуги Баха четырех изумленных учениц. Из ее класса всегда доносился ужасный шум и грохот, но госпожа Зеленская не обращала на это никакого внимания. Если бы бескорыстная воля и усердие преподавателя превращались в музыкальные способности учеников — о лучшем педагоге Райдер-колледж не мог бы и мечтать. По ночам госпожа Зеленская сочиняла свою XII симфонию. Казалось, что она вообще не спит: в какой бы час ночи ни выглянул мистер Брук из окна гостиной, в ее комнате всегда горел свет. Таким образом, причиной возникшей подозрительности мистера Брука послужили отнюдь не профессиональные соображения.

В конце октября мистер Брук впервые со всей уверенностью понял, что его подозрения не лишены оснований. Утром он завтракал с госпожой Зеленской и с интересом слушал ее подробный рассказ о том, как в 1928 году она охотилась в Африке. Позже, днем, она зашла к нему в кабинет и рассеянно остановилась в дверях.

Мистер Брук поднял взгляд от стола и спросил: — Вам что-нибудь нужно?

- Нет, благодарю Вас, - ответила госпожа Зеленская. - У нее был низкий, красивый, печальный голос. - Мне пришло в голову... Помните, метроном? Как по-вашему, не остался ли он у моего француза?

- У кого? - спросил мистер Брук.

- Ну, у француза, моего бывшего мужа, - ответила она.

- Ах, у француза... - тихо протянул мистер Брук. Он попытался представить себе мужа госпожи Зеленой, но так и не смог. Он пробормотал почти неслышно: - Отец ваших детей...

- Не всех, - решительно возразила госпожа Зеленская. - Отец Сэмми.

Мистер Брук мгновенно понял, к чему могут привести дальнейшие расспросы, но из уважения к порядку сказал:

- А кто же отец двух других?

Госпожа Зеленская закинула руку за голову и взъерошила короткие стриженные волосы. Лицо у нее было задумчивым, она долго молчала. Наконец тихо ответила:

- Отец Бориса - поляк. Он играл на флейте-пикколо.

- А Зигмунда? - спросил мистер Брук, уткнув взгляд в свой письменный стол, на котором лежали ровная стопка проверенных работ, три очиненных карандаша и пресс-папье из слоновой кости. Потом он снова поднял глаза на госпожу Зеленскую. Она над чем-то глубоко задумалась и смотрела в угол комнаты, нахмурив брови и шевеля губами. Наконец проговорила:

- Простите, о чем это мы? Об отце Зигмунда?

- Нет, нет, - ответил мистер Брук. - Меня это не интересует.

Госпожа Зеленская произнесла решительно и с достоинством:

- Отец Зигмунда - мой соотечественник.

Мистера Брука все это действительно не интересовало. Он был человек без предрассудков: пусть люди женятся хоть двадцать раз и рожают негрятят - он не имел ничего против. Но в разговоре с госпожой Зеленой что-то его тревожило. И вдруг он понял, что именно. Дети госпожи Зеленой были похожи друг на друга, как три капли воды, но совершенно не похожи на нее. При разных отцах такое сходство казалось невероятным.

Но госпожа Зеленская на этом разговор прервала. Она застегнула молнию на кожаной куртке и повернулась, чтобы уйти.

— Ну, конечно, — сказала она, кивнув головой. — У него и оставила. У француза.

Дела на музыкальном факультете шли хорошо. Ни одного серьезного происшествия, которое мистеру Бруку пришлось бы улаживать, вроде прошлогоднего, когда преподавательница класса арфы сбежала с механиком гаража. Если, конечно, не считать госпожу Зеленскую. Мистер Брук по-прежнему не мог понять, что вызывает его сомнения, и почему он не может разобратся в своих чувствах к ней. Начать хотя бы с того, что госпоже Зелонской немало пришлось поехать по свету, и в разговоре она где надо и где не надо упоминала самые удаленные уголки земли. Иногда она целыми днями не раскрывала рта и бродила по коридору, засунув руки в карманы куртки и размышляя о чем-то своем. А потом вдруг хватала мистера Брука за пуговицу и раздражалась длинным сбивчивым монологом. В глазах ее загорался безумный блеск, а голос становился раздражительным и нетерпеливым. Она говорила о чем угодно и ни о чем, и в каждом рассказанном эпизоде всегда было что-то странное, сбивающее с толку. Когда она говорила, например, что водила Сэмми в парикмахерскую, ее слова звучали так же невероятно, как рассказ о поездке в Багдад. Мистер Брук никак не мог понять, в чем здесь дело.

Истина открылась внезапно, и все сразу объяснила или, по крайней мере, поставила на свои места. В тот день мистер Брук вернулся домой рано и зажег огонь в маленьком камине в гостиной. Он сидел перед камином в одних носках, со стаканом бренди в руке, и чувствовал себя уютно и покойно. Рядом на столике лежал томик Уильяма Блейка. В десять часов мистер Брук дремал у камина, а в голове его мелькали фрагменты из Малера и обрывки каких-то мыслей. Внезапно из слабого оцепенения памяти возникли два слова: король Финляндии. Слова показались знакомыми, но в первый момент он не понял, когда и где мог их слышать. Потом вспомнил. Днем, когда он шел по двору колледжа, его остановила госпожа Зеленская и принялась

нести очередной вздор. Он ее почти не слушал, размышляя о канонах, которые сдали ученики из класса композиции. Но сейчас слова и интонации голоса припомнились со зловещей четкостью. Госпожа Зеленская начала разговор со следующей фразы: — Однажды, когда я стояла у витрины кондитерской, по улице в санях проехал король Финляндии...

Мистер Брук резким движением выпрямился в кресле и опустил стакан с бренди на столик. Боже мой! Да ведь эта женщина — патологическая лгунья! Почти все, о чем она говорила вне занятий, было ложью! Если она всю ночь работала, то сообщала, что ходила вечером в кино. Если завтракала в "Старой таверне", то заявляла, что утром была с детьми дома. Всего-навсего патологическая лгунья, и это все объясняет, буквально все.

Мистер Брук щелкнул пальцами и поднялся с кресла. Первое чувство, овладевшее им, было раздражение. Подумать только! У госпожи Зеленской хватало наглости каждый день являться к нему в кабинет и обрушивать на него свою беспардонную ложь! Мистер Брук не на шутку рассердился. Он долго ходил взад-вперед по комнате, потом вышел в кухню и сделал себе бутерброд с сардинами.

Час спустя, когда он снова сидел перед камином, его раздражение исчезло и сменилось задумчивым и глубоким интересом. Необходимо, подумал он, рассмотреть возникшую ситуацию объективно и отнестись к госпоже Зеленской так, как врач относится к больному. Ее ложь была абсолютно безвредной. Она обманывала, не имея при этом определенной цели, не добиваясь никаких выгод. Возможно, это своего рода помешательство, но никаких корыстных мотивов за ним, во всяком случае, не скрывается.

Мистер Брук допил бренди. Постепенно, ближе к полночи, он начал понимать нечто гораздо большее. Госпожа Зеленская лгала по очень простой и мучительной причине. Всю свою жизнь она провела в работе — за роялем, с учениками, за сочинением своих грандиозных симфоний. Она работала день и ночь, не покладая рук, отдавала работе всю свою душу — но большего ее просто не хватало. А ведь она тоже была человек, она страдала от этой ограниченности и делала все, что могла, чтобы

ее преодолеть. Проведя вечер в библиотеке, она говорила, что вечером играла в карты, и верила, что ей удалось сделать и то, и другое. Обман дарил ей полноту жизни, удваивал то небольшое количество времени, которое оставляла ей работа, расширял крохотный кусочек личной жизни.

Мистер Брук смотрел на огонь и видел там лицо госпожи Зеленской, серьезное, с потемневшими от усталости глазами, с напряженно сжатыми губами. В его сердце смешалась вдруг жалость, сочувствие и небывалое понимание. Он на мгновение смутился.

Немного спустя мистер Брук почистил зубы и надел пижаму. Надо смотреть на вещи трезво. Ведь, собственно говоря, ничего так и не прояснилось. Что он знает об этом французе, о поляке-флейтисте, о Багдаде? А Зигмунд, Борис, Сэмми — чьи они дети? Действительно ли ее, или она просто их где-то подобрала? Мистер Брук протер очки, положил их на столик возле кровати. Он должен немедленно все выяснить, иначе положение на факультете только усложнится. Было два часа ночи. Мистер Брук выглянул в окно и увидел, что в комнате госпожи Зеленской все еще горит свет. Он лег в кровать, состроил в темноте гримасу и начал соображать, что он скажет госпоже Зеленской завтра.

В восемь часов утра мистер Брук был уже в своем кабинете. Он сидел, склонившись за столом, и внимательно прислушивался к шагам в коридоре. Ждать пришлось недолго. Едва услышав знакомые шаги, он тотчас ее окликнул.

Госпожа Зеленская остановилась в дверях. Вид у нее был измученный.

— Как поживаете? — спросила она. — А я сегодня отлично выпалась.

— Садитесь, пожалуйста, — сказал мистер Брук. — Мне надо с вами поговорить.

Госпожа Зеленская положила на стол папку и устало откинулась в кресле напротив.

— Слушаю вас, — сказала она.

— Вчера, когда я шел по двору колледжа, вы разговаривали со мной, — начал он медленно. — Если не ошибаюсь, рассказывали что-то о кондитерской и короле Финляндии. Верно?

Госпожа Зеленская, наклонив голову, задумчиво смотрела на угол подоконника.

- Что-то о кондитерской, - повторил он.

Ее усталое лицо прояснилось.

- Ну да, конечно, - сказала она бодро. - Я рассказывала вам, что стояла у витрины кондитерской, и в это время король Финляндии...

- Госпожа Зеленская! - воскликнул мистер Брук. - В Финляндии нет короля!..

Госпожа Зеленская выглядела совершенно озадаченной. Минуту спустя она начала снова.

- Я стояла у кондитерской Бьярне, потом отвернулась от витрины с тортами и вдруг увидела, как король Финляндии...

- Госпожа Зеленская, я только что сказал вам, что в Финляндии нет короля.

- В Гельсингфорсе... - в отчаянии начала она снова, и снова, дав ей договорить до слова "король", он прервал ее.

- В Финляндии - демократия, - сказал он. - Вы не могли видеть короля Финляндии. Все, что вы только что говорили, - ложь. Чистейшая ложь.

На всю жизнь запомнил мистер Брук лицо госпожи Зеленской в эту минуту. В ее глазах застыло изумление, растерянность и безысходный ужас. Это был взгляд человека, наблюдающего гибель своего внутреннего мира.

- Мне очень жаль, - сказал мистер Брук с искренним сочувствием.

Но госпожа Зеленская уже взяла себя в руки. Она высоко подняла голову и холодно сказала:

- Я - финка.

- Не сомневаюсь в этом, - ответил мистер Брук, хотя спустя секунду уже сомневался.

- Я родилась в Финляндии, я - финская гражданка.

- Очень может быть, - сказал мистер Брук, повышая голос.

- Во время войны, - запальчиво продолжала она, - я работала курьером и ездила на мотоцикле.

- Ваш патриотизм меня в данный момент не интересует.

- Я собираю сейчас документы, чтобы оформить американское подданство...

– Госпожа Зеленская! – воскликнул мистер Брук, ухватившись за край стола. – Все это не имеет к делу никакого отношения. А дело заключается в том, что вы заявили, будто видели... будто видели...

Он не закончил своих слов. Ее лицо смертельно побледнело, у рта появились тени. Погибающая и гордая, она смотрела на него широко раскрытыми глазами. И мистер Брук внезапно почувствовал себя убийцей. Глубокое потрясение чувств – понимание, раскаяние, жалость – заставило его закрыть лицо руками. Он долго не мог произнести ни слова, а когда внутреннее волнение успокоилось, сказал чуть слышно:

– Да, конечно. Король Финляндии. Он вам понравился?

Час спустя мистер Брук сидел один в кабинете и смотрел в окно. Деревья на тихой Вестбриджской улице почти облетели, серые здания колледжа казались невозмутимыми и печальными. Он долго рассматривал знакомую картину, пока не увидел старого эрделя, ковылявшего вдоль улицы. Он видел его сотни раз, и не сразу понял, что в нем показалось ему странным. Потом, с каким-то холодным удивлением, сообразил, что собака бежит по улице задом наперед. Мистер Брук, не отрываясь, следил за эрделем до тех пор, пока тот не скрылся из виду. Потом вернулся к канонам, которые сдали ему ученики из класса композиции.

Перевод С.О.